

Александр, Валерий, Дмитрий Моисеевы

Сказочный остров

Рассказы о природе

Златоуст–Челябинск
2013

УДК 82-3
ББК 84(2)
М74

*Памяти Дениса, что начинал с нами,
но не успел в эту книгу.*

Глава «В горах Златоустья» – Валерий Моисеев,
глава «В зеленом мире» – Дмитрий Моисеев,
остальные – Александр Моисеев

Стихи Константина Скворцова

Моисеевы А. П., В. П., Д. А.

М74 Сказочный остров: рассказы о природе / А. Моисеев. – Челябинск : «ОАЗИС», 2013 – 580 с.

«В Урале Русь отражена» – поэтической строкой выразила природную суть нашего края Людмила Татьяничева. Книга убеждает, сколь многообразен, удивителен этот уголок России. В ней встречи в мире зеленом среди братьев на уральской земле в одном из самых примечательных ее уголков – Златоустье, заветном краю авторов этих встреч.

© Моисеевы А. П., В. П., Д. А., 2013
© «ОАЗИС», 2013

Златоуст

Я помню эту притчу наизусть:
Крылатый конь по кличке «Златоуст»
Копытом стукнул в сладостной истоме...
На Азию с Европою земля
Распалась, иноходца веселя,
И выступили скалы на изломе.
Долина детства – город Златоуст.
Твои огни я помню наизусть.

Там тяжело вздыхает по ночам
Крылатый конь на золотой соломе.
Крылатый конь по кличке «Златоуст»
Понес судьбы моей нелегкий груз,
Роняя людям на пути подковы...
А я сказал: – Была, иль не была! –
Рванул перо из сизого крыла.
И я, как все, был смолоду рисковый.

Но наступила зрелости пора.
Я понял тяжесть этого пера, –
Ведь если конь сегодня в то же поле
Копытом стукнет, сбруею звеня,
То пополам расколется земля.
Небытие проступит на изломе.

И я давно не верю в чудеса.
Я знаю, не попросит конь овса.
И никогда мне в детство не вернуться...
Но я еще надеюсь все равно
Вернуть ему железное перо...
Но конь высок, и мне не дотянуться.

Долина детства – город Златоуст.
Твои огни я помню наизусть.
Здесь ждут меня с друзьями в старом доме.
В твоих горах начало всех начал,
Там тяжело вздыхает по ночам
Крылатый конь на золотой соломе.

Авторское вступление в Златоустье

Двое из нас по рождению европейцы, третий – азиат, а все мы – евроазиаты. Двоим из нас с места рождения до столба «Европа-Азия» пешком с одной стороны не запыхаешься, двум другим – электричкой три часа с небольшим с другой стороны.

Александр и Валерий – братья, златоустовцы. Детство прошло в рабочем поселке на Татарке, дом детства до сих пор стоит на одной из нагорных улиц самой ее верхотуры, чьи порядки древенчатыми саклями лепятся по горному крутобочью. Наше детство – весенние палы на татарском планевище, кислинка щавелька и листвянок; сладость солодки в скальных трещинах, солнечной россыпи земляники в жестких горных травах. Наше детство – купанье, пескариная ловля и магалиная охота на айских перекатах под Татаркой и Салтанкой. Наша юность в лесах за Салтанкой и на Уреньге, над Багрушем и Кувашом от снега по снег, ходки по киселку, дикий лук-мангыр, грибы, малинку-черемуху. Наши школьные каникулы – покос на Березовой.

По окончании татарской Осьмухи (школа № 8), мы грызли гранит науки в Челябинском Политехе и Казанском университете (автотракторный факультет и физмат). Дипломы отработывали в геологоразведке (спецпартии на сырье для атомного оружия и ядерной индустрии) и в СКБ (специальное конструкторское бюро по оборонке) в краях от Златоустья весьма отдаленных. Исполнив свой дипломный долг, вернулись в родные края. Старшой осел в трех часах электричкой от Златоустья, в Челябине сколько-то преподавал инженерии в альма-матер, но, закончив (заочно) Литвуз в Москве, изменил ей в газетчине, книжности и краеведении. Праздники, каникулы и отпуска – на электричку и в Златоустье. И снова, как в детстве от снега до снега в леса по киселку, малину-черемуху, грибочки да и просто пройтись-протрястись славно. Другому в лес напрямиком от подъезда. Отработав диплом, он вернулся в Златоуст преподавать в техникуме «точные науки» и поселился на родной Татарке, современно, так на Северо-Западе, в который превратили ее микрорайоны на возможных для многоэтажной застройки склонах, как раз над Осьмухой. Стал было баловаться по лесам с ружьишком, но недолго, проливать кровь не в нашей крови. Предпочел рыбалку на пруду, а как угробили его, вывели из него всю живность спустился на Ай, а с него стал подниматься на родниковые его притоки. Рыбалка на многие километры растягивается, все на ходу, сродни с охотой зато добыча – голдавь да хариус – на уровень выше прудового окунька и чебачка. И ко-

нечно, ходки весной по киселку, лучок-чесночок, на закате тающего лета по малинку-черемуху, третья – тихая-смиренная охота у него от снега до снега. Не удастся старшему наехаться в Златоустье в их сроки, зимой у брата всегда есть чем разговестись из лесных даров, вспомнить-помянуть добрым словом заветные горы и доли, что их взрастили.

Дмитрий – сын старшого, племянник другого, челябинец по рождению, но по детству и юности златоустовец. Все дошкольные лета, школьные каникулы прошли в Златоустье, на пруду, куда спустились на пенсионное житье-бытье с Татарки дедушка с бабушкой. По лесам родитель с дядькой его таскали, как на ноги встал. Подрос, и в иных горах-лесах стал бывать и без них в экспедициях юных биологов из Челябинского НОУ (*научное общество учащихся – авторы*). Ноушные тропки вывели его на биофак Уральского университета. Отсюда с братом Павлом водил однокашников по Златоустью с вполне серьезными целями. Ребята из биофака в каникулы (и зимние тоже!) облазили Таганай, высокогорье вокруг озера Зюраткуль, собирая полевые материалы, необходимые для обоснования организации здесь национальных парков. Собрали, обосновали в означенный срок. Как говаривал Николай Алексеевич Некрасов: «Труд, этот, Ваня, был очень громаден, не по плечу одному». Много, кто руку приложил к созданию нацпарков, но наши ребята в числе первых. Нацпаркам «Таганай» и «Зюраткуль» идет третье десятилетие. На кандидатские диссертации Моисеевы-младшие набрали материал в других концах Урала. Павел защитил по уральским горным лесам и докторскую. Дмитрий по зеленому миру заповедника «Аркаим». Но не заросли их тропы и в Златоустье. Международная экспедиция, российским отрядом, которой руководит Павел, в которой участвует Дмитрий, мониторинг (*ведет ежегодное наблюдение – авторы*) весь лесной Урал от полярных широт до башкирских югов. На Челябинском Урале зоны внимания экспедиции – Ирмеля, Зюраткуль, Таганай, Уреньга.

Собрались мы как-то. Что старшой пишет и на хлех с маслом и для себя общеизвестно, но оказалось, и брат-дядька для себя по природе пописывает, сын-племяш тоже не только на научные статьи руки поднимает. «Пустили шапку по кругу» и набрали на книгу. Стихами о Златоустье поделился известный наш земляк – драматург и поэт Константин Скворцов. Детство его и юность прошли тоже в горах-лесах Златоустья – на Аю, склонах Уреньги, чей крайний отрог наша Татарка. Душой он с нами там «на всю оставшуюся жизнь». Его последние стихи о Златоустье написаны в книгу. Всем нам славно в общей нашей книге, как на сказочном острове. Все-таки в чудном краю мы живем.

Александр, Валерий, Дмитрий Моисеевы

Европа – слева.
А внизу
Контрабандистами туманы
Дожди
Под шапками везут.
Нет
Пограничного надзора.
Грядой
Сменяется гряда.
Дымят костры,
Дымят озера,
Дымят в долинах города...
Смотрю на них
И различаю
Тот серый склон,
Где вырос я.
Так в океане видят чаек,
Когда недалеко земля...
Мне ничего уже
Не надо.
Мне б только птицею
Туда
В глубокий выцветший
распадок,
Где в огородах лебеда,
Где, пронося пустые ведра,
Девчонка прячется в платок,
И воробьев крикливых орды
На перекрестках всех дорог.
Наверно, здесь, за облаками
И дня прожить бы я не мог...
Бегу, сбивая каблуками
С камней зеленых
древний мох.
С вершины, видимые еле,
Уже со мною говорят
Ручьи сторукие и ели,
Пни в ожерелиях опят.

Мычат коровы под навесом,
И песни тянут провода,
Груженные рудой и лесом,
Гремят на стыках поезда.
Горит крушина по кюветам.
Заборы с запахом ухи.
Туман в ольшанике.
И где-то
Кричат о детстве петухи...
Ромашковый пригорок.
Белый.
И та ж сосна.
Стоит одна,
Грустит о роще корабельной,
В войну уплывшей
на дрова.
С запретной зоной водокачка.
Кустов сплетенных острова.
Согнулось облако,
как прачка,
И через миг – блестит трава...
Я под дождем.
Смеюсь и мокну.
И слышу,
Ставнями звеня,
Знакомые
Закрылись окна,
Завидев издали меня.
Не узнают.
Смешные стекла!
Все те же красные цветы.
Но столько смыто,
Столько стерто...
Прозрачны окна и пусты.
Но горькой памятью о ней
Ударит вдруг сегодня ночью
В запретной зоне
Соловей.

Чердак

Дом засыпал,
Устав от бремени
Забот,
Гася огни в реке.
Но кто-то
Тихо и размеренно
Всю ночь ходил на чердаке.

Утрами
Пахло там опилами,
Больничной свежестью бинта,
И укрывалась за стропилами
Таинственная темнота.

Лишь воробьи,
Летая на реку,
Из гнезд кричали веселей,
И десять солнечных фонариков
Лучи тянули из щелей.

На крыше
Не селились аисты,
Не грелись голуби зимой.
И все же
Оставалось таинство,
К нему бы – ключик золотой.
Я засыпал
Всегда уверенный,
Что лишь проснусь –
И ключ в руке,
А ветер
Тихо и размеренно
Опять ходил на чердаке...

Родился я потаенным упрямцем. Долго, до самого отъезда из дома верилось мне, что весь мир уместился в тесной долине Ая.

Ничего-то нет за крутобокой синью хребтов, солнце ночует за ними, совсем рядом. Ежеутренне поднимается оттуда на Косотур и, разбежавшись совсем как птица-журавль, скачет в небо. И боялось мне: вдруг да в одно ветреное утро солнце не удержится на горе при разбеге, скатится вниз на город и натворит бед. Мой маленький мир был вполне обширен для людей. Он давал работу на заводах и кормил огородиной, поддерживал надеждой на лучшее. А что еще нужно было для жизни в тощее и злое время нашего детства.

Нехитрый мир детства. Солнечными зайчиками ласкают память дни твои. Не все они выпали радостными, что ж с того. И в солнечных зайчиках мало тепла, но как светлы они и желанны.

Зеленый косогор

*Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война*

Из песни, которую пели тогда все

– Сынок, посмотри братика, – мамин голос вызывает меня из медвяной теплыни солнечной комнаты, и я шлепаю вокруг за заборку. Гладенько струганные отцом половицы ласкают босонькие мои ноги. Простынка на окне приглушает ослепительный солнечный жар, спальня наша за заборкой полнится ясным светом. И мне совсем не страшно входить в ее притенью.

Вот он, братка, что ему сделается, смотрит молочные свои сны. Он ничего у меня, все смеется. А уж если пощекотать... Только это нельзя, мама не велит. Так она ж не видит, в комнате она. Шьет братке распашонку, напевает себе: «Он и статен, и прекрасен, в нем особых нет примет, но он в жизни так опа-а-асен. Много примешь горя, бед». Это в песне цыганка так гадает тетеньке про дяденьку.

Пузо-арбузо у братки голенькое – разнагишался. Как не пощекотать. А он хоть бы что. А мы тебе шейку, тут еще смешливее. Сморг-

щился. Засмеешься, засмеешься, все равно не удержишься. Тут меня мама хватъ под мышкн. Догадлнвая. Затнх – значит что-то не то.

Столько свету в нашем, дому, столько солнца... И ни стен, ни потолка вроде. Только ласковое, светлое тепло половиц вокруг белой громады печкн.

Братка просыпается, кряхтит деловито. Мама обрывает пенье про гаданье на картах: «Цыганка правду всю сказала, ничего не наврала...». Известно, чем занялся братка. Упустишь, не то что подгузничкн-напузничкн, всю кроватку изукрасит. Вдвоем справляемся с браткой. Умываем и сверху, и снизу, приводим в божескнй вид. Можно с ним и на улку. Лето на дворе, а мы в затворе.

И вот мы на зеленом косогоре, смутно обвитом соседскнми тропннками, которм крнвобокая наша, верхотурская улнца выставнлась перед домом. Братка у мамы на руках. Серднтся. Бегать ему со мной, видишь лн, хочется. Боснчком но травке. Научнсь ходить сначала. Пляшет братка у мамы на коленах впрысядку, возмущается-вырывается.

А вокруг чисто-зелено. До самого заводнка внизу у Ая. С верхотуры он не велик, по выходному времени тоже отдыхает, дышит сонно. Дымок из красной трубы ленив и неспешен, курчавымн барашкнми бредет на лазоревый небесный луг к не торопливым стадам облаков.

Улыбаются белу свету, красну солнышку горы, с ног до головы залнтые зеленью. Молодой наш дом улыбается свежнми бревнншкнми стенамн. Улыбается и впитывает, копнт тепло, чтоб греть нас в холода. Вся наша улнца улыбается. Недавно зачатая и потому такая просторная. Без палнсадннков, дворов и заборов. Улыбается в праздннчной непрнмятой зелени. Молодые хозяйкн новых домов возле мамы с браткой улыбаются. Радостно мне, так славно с соседскнми погодкнми, завтрашней улнчной пацанвой бегать вокруг их веселой беседы.

Из распахнутых окон бодрые радиопеснн: «В целом мире ннгде нету силы такой, чтобы нашу страну сокрушнла. С намн Сталин родной, и железной рукой нас к победе ведет Ворошнлов». Выходной день, воскресенье.

Подошел, спустнвшнсь по проулку молодой наш отец, вернулся из лесу. Из большого мешка вытряхнул ворох лесной зелени, свежне, не тронутые вялостью увядання веткн, цветы, травы и коренья.

Матери наперебой стали учить нас, своих первенцев, что можно есть, а что для украшения жилья.

И вдруг в зеленое сияние мира – голос. В ликование цветения – голос. И нам, несмышленьшам, стало боязно. Мы обступили своих мам, захотелось домой, под крышу. А солнце как сияло, так и сияло.

Столь долгая зима войны

Жила-была козочка. Было у нее семеро козлят. Пошла она однажды за молочком и говорит козляткам: «Кушайте, что на шестке. Не отворяйте никому, кто б ни просился. Кроме моего голоса...»

Из поучительной маминой сказки

Зеленый косогор под синим небом. Огненные букеты победного салюта в майских звездах. А между ними только зима. Снег, снег, серый снег.

Выпал-то он ясно-белый. Слепил до слез. Полнил дом мягким светом. Было же так, было! Но все затерялось в хмурых днях. Он сер, снег моего детства. Серый снег под окном, матовым от плотных морозных узоров. Всю войну взаперти.

Детство наше вольное, без запретного слова взрослых. Немного тепла, немного еды – вот и все, что могли они нам уделить тогда.

Что за тихая жуть встречала нас с браткой утром со сна! С головкой прятались под одеялом, сколько терпелось. Да спрячешься ли от тишины. Где слышно лишь, как где-то идут и идут бесконечным караваном верблюды. Откуда верблюды, какие верблюды? Но они идут и идут бесконечным караваном. Мерным, скучным, серым шагом. Я и сейчас их слышу. Это сердце толкает по венам кровь.

Выманивал голод. На шестке в чашке пяток картошек в мундире, два ломтика хлеба. На день. От еды становилось смелее. Надолго ли? Снова шарили по шестку. Там даже крошки растаскали тараканы.

Нет, мы не плакали. Для кого? Просто играть не хотелось. Заходили на печь. Кирпичи здесь теплые чуть ли не до самого вечера.

И еще мешочек с комовой солью. Сосеешь и будто ешь. На печи лежали и пакетики отцовских фотохимикалий с довойны. Не отравились, очень уж были горьки.

Тьма пряталась в подполе. Как солнцу гаснуть, протискивалась сквозь щели в полу. С печки нам хорошо было видно. Как скапливается она по углам, густеет, растекается оттуда. Вот и печь обволокла, ножки стола утопила. Повозившись со светом в окне, и его заволокла. К нам заползает...

Мы забивались в дальний угол. Плотно зажмуривали глаза и, прижавшись друг к другу, скулили. Тихо, боясь привлечь чье-нибудь внимание. Знали: защитить некому.

Нас успокаивал сон. Разве дождешься мать из очередей, а отца с работы. Нет, нас не встречали страшные сны. Мы уже умели надеяться на завтрашний день. Он будет с мамой, солнечный и сытый. Добрая надежда-нянюшка баюкала нас с браткой, навевала хорошие сны. Без людей и зверей. Радостная игра радужных узоров.

Огородина

*Может, был бы детиною,
Был бы сажень в плечах,
Коль не сытость фальшивая
На подножных харчах.*

Василий Белов (в его поэтическую пору)

Поддерживала наши иждивенческие карточки в войну огородина. Не просто огородом был нам огород.

Не сойдут еще с картошечных лех черные ошметки снега, копанина не успеет захрястнуть, тянет нас в огород. Хрюшками роемся в грязи. Авось попадет зазимовавшая картоплеха. Сладимая (*подмороженная слатит*)! Яблоки, ясно дело, слаще, да где ж они были тогда.

Надежд, правда, совсем маленько. Осенью землю чуть не через сито сеяли, на другой раз спешили пройтись. Пока эвакуированные с бабаями-трудоармейцами не успели. Их, наезжих, тоже понять

можно. Нам несытно, а им каково без дома-огорода. Особенно бабам неладно. Наш Урал хоть и Южный, да где ему до Ташкента. На них же и в морозы, хоть и стеганые, а халаты, вместо шапки арачкинки, полотенцем обмотанные. Бог ихний им так велит и малость да теплее. Притулится бабай у забора на корточках. Вроде как дремлет, и мороз ему нипочем. Пойми ты его. А ему колотун и есть нипочем. Раскачают и – в кузов. Стукнется костяшкой–деревяшкой, так и едет на корточках на Сорочью гору, новое, просторное кладбище. Ни разогнуть, ни распрямить.

Ах, картошка, ты, картошка, – надежда ты наша и спасение от голодной смертушки. Вечная мамина заботушка всю зимушку. Как бы протянуть, не просчитаться (чуть ли не поштучный счет) да на семена ножик не поднять. Как бы мыши не источили. Как бы мороз не прихватил (что там свою, нашу с браткой одежонку в подпол на прикрыв спускала). Тепло на дворе, опять охи–ахи: «перегреется, гнилью истечет, израстет». Ростки эти только упусти, всю картошку изведут. Заглянешь в подпол, а они уж сплелись клубком глистов после цитварного семени, бледные, противные. Все соки вытянули, и картошка уже не картошки, в комочек очисток сморщилась. Сколько ж раз за зиму мама перебирает картошку. И мы с браткой ей помощнички. Мобилизуемся. Страшно в подполе, а завлекательно и светло же от лампы-керосинки. Все ж не дома одни день-деньской.

Зимой с ростками морока, а весной о них забота. Весной семенной, последней нашей картошечке почет. Поднимает ее мама из подпола на свет божий и рассыпает под койками. На свету да в тепле выклевываются расточки сочные, мясистые, сфиолетова, даже зелень листочков на них намечается и не дай бог их нарушить. К последнему действию над картошкой нам с браткой доступа нет. В своем роде хирургическая операция, по книжке–науке.

Листочки по ней у мамы из «Дружных ребят». Там о героях-снайперах Наташе Ковшовой и Маше Поливановой. На рисунке они в белых маскхалатах. Наташа с гранатой. Сейчас она взорвет и себя, и врагов, за это станет Героем. Еще там нарисовано, как шить кисет в подарок бойцу. Но главная для мамы статья «Клубень в суп, верхушку в землю». Профессор Презент в ней разрешал семенную картошку есть почти целиком. Оказывается, самую махоточку достаточно при росточках оставить. Это открытие сделал его начальник – народный академик Лысенко. Мама похвалилась великим

открытием бабушке, та смеяться: «Открывай ворота, а они давно уж открыты. В нашей деревне в голодные годы не то что верхушки, одни глазки сажали. Голь хитра, голь на выдумки мудра! И ничего, господь способствовал. Картошка как картошка родилась. Одна к одной, с лапоть».

Разговеемся семенной картошечкой по разрешению профессора Презента, и до молоденькой долгий «великий пост картофельный». Куда как тоскливо, а терпим, куда денешься. Разве мы не понимаем, не сразу, а дошло. Был у нас грех. Мы с браткой однажды чуть без семян не оставили. Да мама ж сама и виновата, надоумила сластимой картошкой угостила, мы и распробовали. Под койкой не такая вкусная, совсем не сладкая, так ведь голод не тетка, и принялись грызуну. Дни-то взаперти долгие, не много и минуло до маминой проверки, как росточки завязываются. Как глянула, так и взвыла. Взвоешь, мы ж чуть ли не треть огорода без семян оставили. Пришлось у соседей по картошечке допрашивать.

С самого снеготала тянет нас в огород. А ну как повезет зазимовавшую отрыть. Глянь, а уж и первую усладу сама весна нам спроворила. Обметала задворки веснушками мать-и-мачехи. Ну, чем не солнышкины дети? С солнышком просыпаются, посолонь тянут подсолнышки, по солнышку глазки закрывают. Лишь на солнце и глазеют. За тучку оно, хоть и до вечера далеко, их в сонь клонит, в щепотку смежат лепестки. В нерастай – день пасмурный и вовсе не просыпаются. Что за славный цветик. И солнышку на земле вторит, и есть можно. Стебельки мать-и-мачехи развкусным вкусны, даже сластят вроде.

Глянь, а под изгородью уж тлеют фиолетовые огоньки крапивы. Когда солнце раздует их, запластает, весь забор охватит зеленый стрекучий пожар. Не подступись? Но по весне нет в крапиве злости. Добрая! Рви на здоровье. В щи зеленые, веселые, радостные. Теперь оживешь-выживешь, зеленые времена – лето впереди.

Торопится мать-сыра земля подкрепить нас, гонит на свет всякую зеленую дичину. Незнай-нетулай при ней ноги протянет, сорняковина она ему непотребная. Мы ж не брезгливые, с понятием мы, с ней на ноги встанем, до раннего овоща продержимся, а там и картошечкой побалуемся. Теперь уж недолго. Солнышко-чудодеюшко понятливое. Семенам в земле не дает залеживаться. Махнет злым своим жезлом, глянь – и застилает грядки зеленая скатерть-

самобранка. Озлела крапива, да щи и без нее не пустые. Пришло время овощные верхки – ботву – в зеленые щи класть.

А в земле меж тем корешки завязываются, помаленьку наливаются земными соками. Ох, побыстрее бы! Вот когда нам в огород ходу нет. Заботливо оповещают нас домашние, что завелась в ботве эдакая зловредная старушонка Бобоедка, и нет ей большей забавы, как защекотать до смерти нашего брата. Подобрее, лишь, как бобы ее любимые поспеют, разговееется и подобрееет.

Ну за что такая мука! Выхватить бы с грядки морковинок пучу. Белесенькие они еще на просвет, но морковкою уже отдают. Брусануть бы горошку. Стручочки только-только в розовых цветках зелеными лепесточками обозначились, но что-то от гороха да уже угадывается во рту. Велик соблазн, по бабушке, так ох, как бес путает. Да ведь и жизнь нам с браткой уже дорога. Знаем, бобоедковой щекотки никто не выдержит.

Ага, гаснут, обугливаются по межам белые свечи бобового света. В них что-то затопорщилось, но сдавишь пальцем, ни бобика не прощупывается. Да когда ж они... А-а! Была не была. Ноги-то у нас на что. Она ж старенькая, Бобоедка-зловредина, небось не догонит. Крадемся, дыханье затаив, к заветным грядкам. А сами – ушки на макушке, сторожим взглядом зеленую темень ботвы. Выпеваем просительным голосом: «Бобоедка без зубов, дай гороху и бобов». Улещаем щекотальницу, подхалимы. На ноги, конечно, надейся, а воля ее. Вдруг да рано еще, не наелась она, не подобрела, жестокою свою забаву не оставила.

Но нет ей уже до нас дела! Набивай пузо огородными яствами. Под завязку, досшибу. Сбивай охотку. И Бобоедке, и нам хватит.

За зеленое время свежем мы, оживаем. Скапливаем силенки и терпение на новую, серую, очередную, столь долгую зиму.

Так и прозимовали войнушку. Громыхнули Победу салюты, отметили–закидали майское небо огненными букетами, и зимы наши посветлели, солнышком морозные узоры на окнах заиграли, и наружи снега серостью в тоску не вгоняют, а белой радостью обдают, в первосвежье аж светятся, в ведро так сверкают, что слезу вышибают. Двери в зиму для нас открыты, и она уже в забаву. «Вот качусь я в санках по горе крутой». Чего-чего, а гор у нас хватает. На санках по тому же проулку башку сломишь. Я почему на коньках не умею. Так брякнулся в том проулке, что еле откачивали. И отбило на всю

оставшуюся жизнь охотку. По науке, так условный рефлекс. Зато лыжи, это по мне. Недаром говорят на Татарке: «У нас сначала на лыжи встают, потом пехом ходить учатся». Тут уж... Лыжи ломал, но охотку не отбивал. Падать тоже уметь надо.

«Бобик», «Огонек», «Девушка вниз головой». **Цветы детства**

Цветы в нашем доме появились, вернее всего, после войны, никак не раньше, если и до победы, так когда уже не так голодно стало, и мама не оставляла нас с браткой одних на день-деньской взаперти. На отоваривание карточек нетающие всю войну очереди убыстрились. Заведут было цветы, а мы с браткой их под корешок – «кушать хоца», а по науке, так и «подсознательная потребность в витаминах». Кроме проклятого до «вырвет» рыбьего жира зимой ни витаминчика.

От цветов ладно бы маяться, можно и коньки отбросить. Олеандр, к примеру. Ох и красавец в цвету, сплошная розовикипень. Запах, будто одеколону флакон распыскивают, расцветает на утро голова болит, вроде как в ней градусы, а их нет и иди в школу. Так и ходили с больной головой, пока не выбросили, несмотря на такую роскошь. Мама прослышала, голова болит, потому что ядовит олеандр, если листья пожевать, так и навек отжуешься. Не отравились, не тянуло очень уж горький. Правда, коза Зойка, если дотянется в открытое окошко, так объедала листья и хоть бы хны. Ну так Зойка известная оторва, ей чем хуже, тем слаще.

По мере появления зеленых новоселов на подоконнике мы с браткой по военной привычке опробовали каждый на предмет съедобности. Есть можно, но уже не хочется, за столом наедаться стали. Лишь «бобик» понравился, и цветы, и листочки оказались даже кислее щавеля, жеванешь, скулы сводит, не разомкнешь, такой кислуган. Во взрослости я «бобики» не встречал, из бегоний самый невзрачный цветок, цветочки мелкие, листики невелики и просто зеленые, ни яркого цвета тебе, ни декора. Вы же знаете, какие роскошные бегонии сейчас разводят, что на их фоне «бобик»

моего детства. Цветы той поры, вообще, исчезли с подоконников, встретишь так, мне что солнечный зайчик не увядших трав детства.

«На позицию девушка провожала бойца, темной ночью простились на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек». Может, по песне и назвали этот цветок – огонек. Стоит на окошке и горит огоньком, цветов много, ярко-малиновые, сплошным ярким пламешком. По справочнику это *бальзамин африканский*, а в обиходе еще и «*Ванька мокрый*», очень уж воду любит. Чуть пересохнет земля, листья жухнут и опадают, травянистые, почти прозрачные стебли дрябнут, ежатся, сохнут на глазах. Цветок вошел в литературную «классику» фамилией героя пьесы «Свадьба Бальзамина».

С подоконников огонек, как и бобик исчез, но завоевал место в саду. Здесь он уже не травянистым кустиком с цветочками в розницу охвачен, а сплошным цветом «с ног до головы». Стебель один, но в полтора роста.

Бальзамин садовый, в народе – *недоtroга*, отцветет, семена в коробочке, чуть тронешь, а она прыск во все стороны маком. В саду бальзамин в сорняках, семена разбрызгивает, куда не следует. После зимы всхожесть у семян, что надо, не полоть, так сад твой с середины лета превратится в бальзаминовые джунгли, с головкой скроют, не продрасться. Впрочем ломать его сочные стебли совсем легко, они почти прозрачны, видно вроде как соки пульсируют. Оставляю в дальнем углу, в отдалении от посевов, красиво все же, весь угол охвачен пламенем, соседский забор застилает ярким занавесом. Садовый бальзамин с теплых широт, но больших высот, родом с Гималаев, а там хоть и юга, но зима настоящая, вот и зимуют у нас семена, сами же «свечи» убивают первые же заморозки. Чуть ударят, великаны разом чернеют и оплывают на землю. Называется садовый бальзамин «*железконосный*», на цветоножках у него вроде как ржавчинка. По латыни же, «*импатионас*», странное, согласитесь, название, созвучно мужиков недееспособных кличут.

Цвела в мои школьные годы у нас на окошке *фуксия*. Цветок вроде как в женской одежде: головка в косматой прическе, разноцветная (белая, розовая, красная, фиолетовая) кофточка, зеленая юбочка, из-под нее ножка виднеется. Свисает фуксия–«девица»

вниз головой, совсем как в песне про теодолит: «И любовался я девицей той, только вот жалко, что вниз головой». Цветочный справочник о фуксии гласит: *«Вечнозеленое кустарниковое растение. Родина – Центральная и Южная Америка, Фуксия неприхотлива и проста в размножении черенками, к зиме полив сокращают».*

На подоконниках у нас места было мало, в доме тесновато, но обязательно выкраивалось место в углу для «дерева». В «конском», то есть большом ведре высаживался цветок – крупнорос. Первым был олеандр, когда за ядовитость был выброшен, его место занял «кленок», закончилось все «березкой». От деревьев с таким названием в цветах совсем ничего не было, совсем непонятно, за что они так. Домашний «кленок» распускал оранжевые колокольца, а «березкины» цветы были просто роскошны, темно-красные, почти вишневые, махровые, потому и другое название – «персидская роза».

Трофейная «картошка»

Какой пожар прошел, с ума сойти.

Какие промелькнули потрясения.

Виталий Касьянов

Первые цветы зацвели на нашей улице победным летом. До того каждый клочок вскапывался под картошку.

Кислица уже переставала, когда вернулся с войны первый и последний фронтовик на улице дядьКоля, Женькин отец. Конечно же, мы со светанки засели караулить, когда проснося фронтовик. Солнце накалилось до ослепительности, сморило нас, недоспавших, как он вышел. Слева-то! Слева на гимнастерке солнышками вспыхнули медали, справа – ордена. Настоящий герой! Нам ли с браткой не завидовать. У отца-то всего лишь две медалешки, военные, не тыловые-трудоовые.

Только что это он без фуражки, ремня? А уж Женька столько хвастался, какой у отца ремень. Кожаный. Потому что офицер. ТетьМаруся ему все обещала: «Вот придет отец, он из тебя ремнем

всю дурь выбьет». И погон не было на гимнастерке, только темные пятна на плечах. Определи-ка, офицер или солдат. Знаем фуражка с черным околышем, связист, а где она, голова непокрытая в полу-боксе. Ну а на ногах и вообще срамота. Не офицерские сапоги, хромовыен со скрипом. Босиком! Как какой-нибудь пленбеж.

В дверях дядьКоля потянулся. Поднял руки совсем не побоевому. Поднял и скривился. Больно стало, раненый он «в области предплечья», в письме так писал.

Полагалось бы ему подсесть к нам и рассказать, как бил фрицев-гадов. Только он не подошел, а опустился на приступок. Тогда у них сеней, как у всех нас, не было. Ни сеней, ни крылечка, так себе, приступочек.

Присел он. Нашарил в синих галифе портсигар. Конечно, трофейный. Мамки наши говорят: «навез добра, на всю жизнь хватит».

Размял папироску, офицерскую, понятно, а то и трофейную. Наши-то папки садят самокрутки. Они трофеев не добыли, по «бронне» их с завода не фронт не пускали, были на «тыловом фронте».

Смял гармошкой мундштук. Щелкнул блестящей зажигалкой. Тоже из Германии. И решили мы, дядьКоля задавака, в Женьку. Конечно, герой, а мы, пацанва, не ровня, но все-таки соседи... Обидно стало, ждали-ждали, а он словечка не уделил.

Накурился, такой бычище стрельнул в траву. Приметили куда. Нам всем по разу дыбануть хватит, когда уйдет. У наших папок того не уследишь, для них махра дороже хлеба. Накурился дядьКоля, сказал что-то Женьке. Тот глянул на нас, вроде как неловко ему стало, а с чего, и убежал в дом! Наконец-то! Сейчас вынесет трофейную какую-нибудь диковину.

Женька объявился в дверях с лопатой. Разве не обидно? Мерзли-мерзли спозаранку, на солнце жарились, есть охота, а тут лопата. При чем тут лопата? Картошку-то давно посадили, цвет набирает, скоро окучивать.

Догадливый Володька крутнул пальцем у головы. Мол, контуженный. Известно, если контужен, делает, что не надо. Артурка согласился, Борик тоже, братка согласно засопел, молчун он у нас, видно такой. Жалко стало ему Женьку. Такой отец семье не в помощь, самим морока.

ДядьКоля вскопал лужайку под окнами. Так старался, так старался, разбил до комочка, до травки повытряс. И посадил картош-

ку. Видели мы, Женька притащил в газетке. Растянулся в исполнительной спешке, она и вылетела.

Закопали они картошку, полили. ДядьКоля ушел домой, а Женька – к нам.

– Крепко отца-то? – поинтересовался Володька.

– Чего крепко?

– Чего-чего. Того. – Володька покрутил пальцем.

– Сам ты подвинутый.

– А чего вы картошку сажали среди лета?

– Картошку... Смотри на этого чудика, – расхохотался Женька, – это же георгины. Из Германии.

– Ну и как?

– Чо – как?

– Чо да чо. Зачокал. Вкусная?

– Ой, уморяки, – закатился Женька. – Да это же цветы.

Вся улица караулила, когда зацветут трофейные немецкие цветы. Георгины зацвели поздно, когда уже убирали картошку. Известно, поздно посадишь, поздно что вышло, увидишь. Робко пробился в зелени первый язычок пламени, а потом дружно, в день-два охватило кусты. И запластало-запылало яркое кострище.

Недолго горел, нас радуя, тот волшебный костер. В Златоустье случается: лето еще вовсю, солнышко припекает, и вдруг с ночной ясыни под утро оседают инеем травы. Пал утренник, провозвестник близкой уже зимы. Тогда так же вот. И разом погас костер. Слякотные комья цветов и листьев повисли на черных головешках стеблей. Как ждали мы, вдруг да случится чудо. И раскроются, вспыхнут обуглившиеся бутоны, приготовившие нам, может быть, самые неповторимые цветы, чудные язычки пламени. Где там! Хоть плачь.

На друголето цветы порадовали нас долгим ярким костром. Георгины ведь и заморозками поверху сгубленные, в клубеньках жизнь сохраняют. Чтоб весной, как растеплеет, проснуться, набрать под солнцем над землей зеленые силы и новые чудо-костры разжечь на новую нам радость. Да только ли на радость, на какую-то скорую от победы осень, срезали георгины на крышку гроба. Дядь Коля умер. Один из осколков, прихваченных им где-то в Польше, упустили хирурги. Гулял по телу, пока кровь не прибила к сердцу.

По ягоды

За ягодами пойдешь – пустым придешь.

По ягоды пойдешь – много наберешь.

Кузюцкое убеждение

Вольдька виноват, кто ж еще. Вечный искуситель на недозвольные дела. Нет на что бы хорошее, где там, на дурное вот мастак. Сманил. Пойдем да пойдем: «Не маленькие, в школу скоро, а все за мамкину юбку держатся. Сисятники!» Застыдил, спасу нет. И вот мы идем по ягоды: Володька, Артурка с Бориком и мы с браткой.

По проулку шли, хоть бы что. Боялись только, как бы мамки не уследили. Привяжутся: «Куда да зачем?». Будут нам ягоды. На перевальной планине тоже не боязно. Места еще наши, на ямы сюда бегаем купаться. До войны дома хотели ставить, не успели. Ямы залило водой нам и удовольствия, бултыхайся с головастиками. Вода хоть скрасна, мутна от глины (потому и вода держится), зато не то что в нашей ключевой запруде с ломотой в естестве. Тепленькая, как в корыте, когда мамка купала, пока в баню не стали ходить, сначала с мамкой, потом с отцом. Мужики уже значит.

Скупнуться бы самый раз, печет уже. Володька повел без остановки: «Другораз, ребя, по делу идем.». Пошли дальше. Дорога на перевале двоилась. Главная с Горы вниз побежала, чтоб за Шестым участком перемахнуть мост через Ай и стать старинным Бирским трактом, ведущим в сытный край дуванский в Башкирию, а из нее на Волгу. Нам же путь короче, боковой дорожкой по нашему берегу до ближнего леса на горе Салтанке. Вон он синееет-зеленеет, однако тѣпать да тѣпать. Лес-то, говорят, до нашей Татарки доходил, но за войну надалеко на дрова повыхлестали, мужиков-то не было на дальние лесосеки.

Не по себе стало. Хоть прекратились с войной слухи о пропаже нашего брата на пирожки, а все равно боязно. Ни домов, ни души живой, лишь голые горы да пустое небо над ними. Запереглядывались. Вернуться бы. С Володькой вернешься, как же!

– Вы что, пацаны? Держи хвост пистолетом. Назад покойника не носят. Не маленькие.

Не носят так не носят. Потопали мы к лесу. Дошли-таки! Оглянулись – страшно, лучше не оглядываться. Домики видно, но со спичечный коробок.

Зато земляники тут, на Салтанке, не то что на Горе. Там травинку насобираешь в бусинку и надоест. А тут... Тук, тук в банку консервную, и уж не тукает. Донышко покрыло. Мамка, что мамка. Полную банку принесешь, небось только ахнет. Не всыпет! Ништяк, пацаны.

Может, и поахали бы наши мамки на ягоды А только за Салтангорой вдруг как ахнет салютом, как в День Победы. Разом из-за нее выгнало тучу. Пухлую, черную. И пошло пластать. Заахало. загрохало. Да по ушам, да по макушке. Будто мамка уже подзатыльниками воспитывает: «Не ходи без спроса, не ходи...».

По бабушкину объяснению, у нее на все они есть, гремит в туче, потому что Илья-пророк по небу мчится на огненной колеснице. Хлещет молниями – погоняет черных быков, промажет мимо, так и на землю летят всему живому на погибель. По бабушке, еще что делает этот дядя Илья–поганец. Лету еще месяц, а он напрудонит в воду, и купанью конец. Сам не полезешь, вода разом стынет как в ключике, от холода того и гляди то самое лопнет. Этот мужик всегда сердитый! А ну как и на нас осерчал, что без спросу пошли по ягоды, родителей не спросились, неслухи. Как опояшет огненным витнем, как ожжет, а то и с копыт долой.

Нам бы под дерево забиться, переждать. Да мы уж не соображаем ничего. Деру! Володька впереди лупит. Он же у нас самый смелый.

А туча все пластает, вода из них потоком. Банки наши воды полны, ягоды поверху плавают. В рот их. Бежим и – в рот. Что уж теперь, теперь ягоды дома нас не спасут. Бежим и давимся ягодами и ревом. Да крестимся еще, бога вспомнили. Бабушка, надо когда, из-под палки не заставит, а тут вспомнили: «Мать пресвятая богородица, спаси и помилуй». Хоть и ослушники-богохульники, так ведь крещеные, авось защитит от гнева Ильи-пророка.

Добежали до ям, гром примолк, дождь за Гору перешел. Ускакал Илья-пророк на огненной колеснице, не досталось от него витнем-молнией. Обошлось! Может, и впрямь заступилась святая богородица. Осинилось небо, земля запарила. Радоваться бы, живы! А какая тут радость. Гудки прогудели. Значит, смена кончилась, и отец с работы пришел, а отец не мамка, не отговоришься, не разжалобишь.

Володька видит, грустные мы, попробовал развеселить: «Медам на пляже увидела мужчину и позвала домой. Дома попросила раздеться, тот с большим удовольствием. А она зовет сыночка: “Вот

если не будешь кушать манную кашку, будешь тощим, как дядя.” Гы-гы-ы... А вы что не смеетесь?».

Что тут смешного? И вообще, почему это пацан кашу не ест. Такое разве бывает? И, вообще, до смеха ли нам. Володька нам: «Да пошли вы в баню. Мне к Винчале надо, свинчатки на жестку обещал. Знаем мы эту свинчатку. Сдрейфил Володька, отец ему не врежет после похоронки, а за нас от наших мамок влетит. Всегда так вот, сманит, а отдуваться – назад пятки. Отведут на нас мамки душу, он и объявится, когда у них весь жар выйдет.

Чайка

Домашние животные живут при нас, и мы живем среди них – братьев меньших, одной мы крови с ними, так что в кровном родстве. Что без них наше детство – мертвая, безмолвная пустыня.

Без них прошло лишь военное наше раннелетье в домашней заперти, бесконечной зимой, за морозной мутью окон. Первое живье в памяти, первые домашние соседи – мыши и тараканы. Ни те, ни другие нас с браткой всерьез не принимали. По полу шныряли мыши, и было их столько, что боязно спускаться с печи. Тараканы темной россыпью грелись с нами в напечном соседстве, ни они нас, ни мы их не боялись.

Управа на мышей находилась, когда отца отпускали переночевать с работы. Брался ведерный котел, наливалась вода, низко от верха, дело столь важное, что туда не жалелись корки. Утром чугуна не было, как и отца с матерью. Он – на работе, она – мерзнуть в очереди на отоваривание карточек. По уходу на очередную рабочую неделю отец опрокидывал чугуна с нахлебавшейся до смерти добычей в снег на радость воронам-сорокам, не ужасая наши детские души наглядной мышьиной гибелью. Очевидно, становилось мышей меньше, но нам незаметно. С тараканами боролись по деревенской старинке. Мама увозила нас по морозцу на санках на пруд к бабушке и распахивала в дому на наше отсутствие дверь настежь. По возвращению мы гостили сколько-то у соседей, пока мама не выметала мерзляков на выброс и не прогревала дом. Мера действенная, но явно не для всех. Стоило печке раскопегариться и набрать тепла, в углях

и щелях в заборке оживало шевеленье. Вскоре уже нам с браткой на печи не было одиноко. Очень рано мы убедились, что таракан – тварь на редкость живучая и плодущая.

Не помню ни живой тваринки на нашей нагорной улице военной порой, все они обретались в бабушкином околотке. В бабушкиной мазанке тараканы водились, мыши, видно тоже, куда от них денешься, но вели себя куда скромнее, чем наши. У бабушки и в войну водилась кошка, что за радость нам с браткой. На дворе нам еще радость – собачка Зорька. Потому что, по бабушке, так без кошки не дом, без собаки не двор. А еще там мельгешили, кудахтали куры и даже с дармоедом (бабушкина характеристика) петухом, как же, по той же бабушке, «курам без певня». Обреталось в стайке и, вообще, чудо неземное – коровка, одна на весь околоток. Вот какая у бабушки живая зима. А летом, летом у бабушки..., память просто захлебывается от живых впечатлений от тварей уже не домашних, особенно у пруда – всякая мухота, даже лягушки, в воде рыбки.

Да часто ли открывалась дверь нашего военного детства в живой весь год мир бабушкин околоток. В Демидовку с Татарки не ближний край. Лишь в конце войны очереди спали, и мама стала возить нас чаще. Распахнула же нам дверь в живой мир, по-настоящему, Победа.

Собаку мы долго не заводили. Самим есть нечего – война. Да послевоенье ненамного сытнее помнится. Чайку отец подобрал из жалости. Издыхала она на дороге, с его слов машина через нее переехала.

Почему Чайка? Да нет, ничего похожего в ней не было. Черненькая, ушки лопушками, хвостик вислой кралечкой. Обычная дворняжка. Чайкой мы ее с браткой назвали, уже мечтая о морях-океанах.

Прихватил отец собачонку с дороги в гараж, уложил на ветошь под верстак в своей аккумуляторной. Стал отпаивать молоком, полагалось ему за вредность. От нас между прочим отрывал. Ну, да у нас уже коза Манька была.

Оклемалась псуля, а ведь совсем, как говорила в таких случаях бабушка, на ладан дышала. Недаром говорят: собаке только место смени, из мертвых встанет. На руках принес ее отец домой. Уж так порадовал, так порадовал, так мечтали мы с браткой о песике.

Сколько радости подарила нам Чайка. Недолгой радости. И великое горе, пожалуй, самое горькое горе той, изначальной моей поры.

Тот февральский день с утра завит был вьюжной тоской. А мне выпала радость. На районном смотре художественной самодеятельности занял я третье место.

Объявленный звонким голосом ведущей, ошалевший, вышагал я из-за кулис в слепящее сияние сцены. В разлапистых, на вырост, валенках. От робости важный, весь из себя пробасил беспamięтно в душную темень зала некрасовский «Мужичок с ноготок». Не думаю, чтоб получилось у меня уж так, чтобы очень, видно, видом я пленил жюри, шапкой прикроешь (всю жизнь на левом фланге), но валенки по стиху в самый образ. И вот она слава! Гreet трубочкой грамоты.

Переступаю порог – и радости конец. Братка, глаза красные, как у кролика, сообщает: «Чайка...». И слов нет.

Да как же она? Почему? Вчерашним вечером еще пускали погреться. Вот-вот должна щенятами разродиться, на троих рассчитывали. Мы уже поделили их. Одного Володьке, одного Артурке, одного Борику. Остальных уж, кто попросит. Собаки-то на улице ни у кого еще нет.

Рванулся я без шапки, в носках на двор.

Чайка лежала в норе, вырытой нами в Манькином сене, чтоб тепло ей было с щенятами. Лежала, ощерив в муке зубы, остекленев глазами. Она уже застыла. Да уж, на всю жизнь. Первая смерть на глазах, на сердце.

Коза-дереза

Коза-дереза, шелопутные глаза, полбока луплено, за три гроша куплена.

Из сказочной песенки

Братка справный, а я – будто не кормят. И дохатый начал, даже если не простыну. Иной раз зайдусь до посинения. Забеспокоились родители и купили козу Маньку, чтоб молоком меня поддержать – наладить.

Как ведь несправедливо в жизни бывает: хорошего кого будто и не было в памяти, а дряннишка, сорвиголовушка до ужимочки впе-

чатается. Вот и Манька. Она ли не молодчина была. Молочница, не молоко – сливки. Домашняя, по огородам сроду не блукала. А что о ней вспомнишь? Манькина доченция Зойка вот, это да.

Манька простенькая, невидная козушка, что-то серенькое с проседью. На этой же шубка на пуху, цвета какого ни у одной козы больше на видел, потом уже, как выехал с домашнего столованья в столовское, вспомнил Зойку. Цвета она была кофе с молоком. Такой вот колер. У мамы рожки обычным серпиком за уши, у доченции–форсули изящной лирой, бородачка как у всех да вдобавок еще и сережки. Щеголиха! Зато Манькино вымя – торба, сиськи по земле чиркают. У этой же с кукиш.

Спало военное оцепенение, посвободнее жить стали, появилось время о живности позаботиться, посытнее за столом чтоб, на Нагорной нашей у кого несухи заквохтали, у кого поросенок заверещал. Мы вот козу и завели. Отец все просчитал, дает молоко, а налогом не облагается, как корова. Придет пора, насмелеет и на коровку, но пока вот Манька с Зойкой.

Не на пустое место привели Маньку. Пошли в ход с предвоенного недостроя за войну почернелые доски, отец их как зеницу ока берег, ни досточки не стопил, хотя и столько мерзли. Досок тех сенки пристроить хватило, дворик уединить от соседских взглядов, да еще сколотить козочке жилуху-стаечку. Не мы одни тогда за обустройство взялись. Как обогрела мирным покоем победа, заколотила–затукала наша Керамическая, приращивая дворы, заменяя ненавистную «колючку» в изгороди чем попало. Чаще всего на узорные железные доски с пробоями видом ложек, ножей, вилок. Цех ширпотреба под нашей горой на берегу Ая штамповал столовые приборы. С местной свалки таскать дырявые доски к нам на гору по проулку через две улицы.

Маньку пасти – горюшка не знаешь, щиплет себе. Домой захочет – мекнет вежливо, мол, накушалась, ведите ребята домой, молочком угощу, вымячко полнехонько, того и гляди прыснет. Эта же, глаза завидущие! Под носом пырей по пояс. Так нет, ей туда, куда нельзя. А то ударит ей в голову дурная кровь. И с места в карьер! По грядкам напроход, по межам крапиву и бурьян выбирает. Удержи попробуй! Скачешь, скачешь за ней. Веревка-то на кулак намотана. Запнешься. Бряк! До чего ж приятно считать животом межкикамешки.

А блудня-то, блудня. Как ни привязывай, отвяжется и...: «Ах, вы козу распускаете, ах, в милицию сведу, ах, штраф припаяют».

Цветы на подоконнике Зойка под корень извела. Откроют в тепло окна, а у нее сразу ресторан. Ей, видите ли, трава-мурава приелась, заморских деликатесов пожелалось, и дегустирует все подряд. Олеандр по всем книгам ядовит. Другая бы с листика копыта отбросила, а этой, чем отравнее, тем вкуснее. Ничего ее не берет.

Одежкой баловалась. И так-то небогато у матери нарядов. Какие там наряды, по бабушке, так срам бы прикрыть. А Зойка небось, наши штаны из «чертовой кожи» не тронет, грубоваты, разбирается. Материны же платья жует подряд. Сколько слез пролито, ведь штюпать нечего, к жилетке рукава не пришьешь.

Дурное к дурному тянет. Володька, вольный казак в безотцовщине, самый хулиганистый на улице, курить Зойку научил. Сунет в зубья чинарик, а она уж рада – взятяжку, из ноздрей дым валит. Не коза, Змей Горыныч. Докурит, окурочку сжует, вроде как на закуску. Это какое ж здоровье надо иметь. Никотин, пишут, лошадей убивает, а Зойке хоть бы хны. До того пристрастилась к куреву, как гудки пересменку загудят, где б ни привязана, веревку пережует и – в проулок шакалить чинарики у работяг. Перепадало. Как же, забава – коза курит, а что они с Зойкой отравляют нас с браткой через никотинное молоко, им наплевать. Наглеть стала курячка. Мужчина идет себе, знать не знает, что должен кому-то чинарик. Да он, может и не курит совсем. А Зойку зло на таких берет. Разбежится и все-рьез, рогами. У кого и срам забелеет из порванных штанов. Скандал! Что ты с ней будешь делать? Отец знает что. Сама виновата.

Магалиная охота

*Скользкий, как магаль,
без мыла лезет...*

Из поселковых оскорблений.

Во времена кузючкие барки с железом и оружием со Златоустовского завода сплавляли. По Аю в Уфу, с Уфы в Белую, с Белой

в Каму, а отсюда на Волгу-матушку, столбовую голубую дорогу Российской империи. Вот какую силищу имел Ай, впрочем и тогда уже лишь в половодье. До нас же дошел он поколенный. Под Горой только и можно где поплавать, так в «ямах» у Ширпотребя, где штампуют ножи–ложки–вилки, оставляя железные доски на татарские заборы. Здесь с ручками, утонуть вполне можно и против желания, чем не купальня. Одно плохо, именно тут, в заводине, особенно красив Ай. Заводы мазут в реку спускают, а течение его сюда сбивает. Вот и красят заводь, по-заводски так «нефтепродукты», во все цвета радуги, в черных липких плевках мазута. Да мы привычные. Плынешь, так не ленись разгрести. Прозеваешь – так улаптает липучка, никаким бензинам-керосинам не под силу. Нашу нулевую головную щетину еще можно мало-мальски обезмазутить. Девчонкам же – прощайте косички и ходить вам, как вшивоте под машинку, ноль-ноль.

Рыбному народу заводская радужная краса совсем не по нутру. Живет в реке лишь магаль, но разве это рыба, ублюдок какой-то. Чешуи магаль не имеет, голый, склизкий. Плавать он не плавает, по дну ползает, увидишь плывет, значить, не в себе он, скоро ему кранты, поплывет белым пузом вверх. Хоронится под камнями. И никакие наживки его на крючок не заманят. Мы по-другому его брали, охотились с вилкой. Магалиный пережат лежал как раз под нашим проулком, чуть пониже ширпотребовской ямы.

Только схлынет половодье, унесет снеготаловую муть, теплет малость водица, ступишь, уж как от кипятка ногу не дергаешь, мы уже на Аю, магалиные охотнички. Крадемся меж скользких голышей голыми ногами. Магаль – тварь чуткая. Та-ак, вот тут ты, голубчик, наверняка прячешься. Глаз у нас ватерпас, наметан.евой рукой приподнял камешек. Вот он, огарышек, пучит глазенки, мыслит. Не поймет никак, почему укрытие сносит. Сроду такого не бывало. Р-раз! Вот и на вилке мыслитель. Думать вредно для здоровья.

Разазартнейшая охота. Лишь как взвоят гудки на пересменку, придешь в себя. Какая уж теперь охота. Через магалиный пережат, охотничьи наши угодыя, мост. Пешеходный, железный, какие для удобства перед каждым заводом. По этому – ближний путь на завод металлоконструкций, в отцов гараж и на бойню. Наш мост звенит туго натянутой струной, блестит, полированный грубой рабочей об-

увкой. Чтоб не оскальзываться, густо изварен именами сварщиков и всякими словами, которые мы при взрослых употреблять опасаемся.

Железный мост и прекращал нашу охоту на магалеи. Каждый работага не преминет остановиться над нами, подышать на ветерку речной прохладой после цеховой пыли да гари и попутно отпустить нам совет, чаще всего обидный. Вроде того, что нам особо беречь надо то, из-за чего нас мальчишками зовут. Либо это самое отмерзнет в воде и отпадет, либо слипнется в мазуте, когда потребуется, не расправишь, либо магали откусят. По-ихнему, куда ни кинь – всюду клин. С магалиями ничего страшного, зубов нет, а до этого самого мы с переката не сходим, на глубинке наша добыча не водится и ни льдынь, ни мазут ему не страшны. Но разве охота под такие насмешки?

Взапуски по проулку на нашу поднебесную улицу. Добро, согремся! Вослед насмешки прохожих. Мы ведь, как папуасы какие-нибудь разукрашены. Руки-ноги мазут браслетами окольцевал, пока на магалеи охотились.

Дома первая наша, неприятнейшая забота – мазутные кольца стирать. На это препоганое дело отец нам бензину из гаража приносит, входит в наше положение. Иначе не то что в постель, в избу мать не пошлет. Чего ни коснемся, все залапаем.

Магалеи, конечно, кошке. Не всегда ей такая лафа, под рукой ничего нет, так их кашеварка наша в жареху пускает, с молочком, очень даже ничего. Поводит над магалиями носом, керосином не очень пованивают и на сковородку.

Отец придет со смены.

– Мать, никак сегодня осетринку по карточкам давали?

– Да это ребятки все...

– Да ну! Ай да добытчики! Родителей уже кормят. Не зря, мать, растим.

Кому не приятно такое слушать.

– А сами-то что один хлеб едите?

– Ты, папка, ешь, ешь. Мы тебе это принесли.

Вот какие мы заботливые! А честно, так магали нам в горло не лезут. Даже если и не керосинят. Руки после мазута, спичку поднеси, вспыхнут. Иной так прокеросинимся – Филька-кот в постель спать с нами брезгует.

Зеленый шум

*Идет-гудет, Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!*

Н. А. Некрасов

Ранние цветы

В долине Айской тишина.
Стоит избушка в два окна.
Трещит в печи сухой валежник.
На счастье или на беду
Стоит в стакане, как в пруду,
На подоконнике подснежник.

А я смотрю на Уреньгу –
Вершины все еще в снегу.
А здесь в долине и в душе
Цветет черемуха уже.

Сгорая, падает звезда...
Уходит время в никуда...
Остановись. Еще не поздно.
Ах, эти ранние цветы...
Как жаль, что белые хребты
Напоминают мне про возраст.

А я смотрю на Уреньгу –
Вершины все еще в снегу.
А здесь в долине и в душе
Цветет черемуха уже.

Подснежник медленно угас.
Ему дано светить лишь раз
Свечой сквозь желтые ресницы.
Но ты опять летишь ко мне...
И отражаются в окне
Три голубые медуницы.

А я смотрю на Уреньгу –
Вершины все еще в снегу.
А здесь в долине и в душе
Цветет черемуха уже.

По одну сторону Горы магалиная охота, по другую сторону Ай рыбкой посерьезнее, по весне балует. А по-над-за ним леса. Ах сколько радостей оживляет в них Весна-красна. Да что загорные места, сама Гора по весне сплошная радость.

Омытая снеготалом, как после купанья, нежится под теплым солнышком, обсыхает наша Гора. Теплым, живым ветерком обдает ее добрые бока, готовые травы выгонять на белый свет, жизнь будить в огородном семени.

А в поднебесье, меж скал на планине, как буйно веселы в едва просохших травах майские палы. Как лихо скачут они через камни, дико взывают на взлете. Мышь шурует в затишье, тихой мышью, не слышно, не видно. Лишь сыплется наземь черный жар. Куда как славно стелиться вслед палу, обжигая ноги. Пьянея от горькой травяной гари. Как славно мчаться, дико, первобытно крича! До самых ям, где ломал плитняк из которого как сакли складывали жилье на татарских склонах. Пал на полном скаку, кувырчался в них, пропадая.

Куда как славно гоняться за майскими жуками, по горным полянам в жидкой голубыни сумерков сшибая фуражкой шумные шарики их тел. Сажать жуков в коробок и слушать, как перешептываются они возмущенно, прикидывая-сговариваясь сбежать. Не быть вам на свободе, хрущи от вас огородине пакостники, будет вам укорот.

У подножия Горы уже не огненных палов, а вод буйство. Пробудившись с зимней дремы в снегах, они восторженно режут, стремясь с гор в реку и в ней вперед, вперед. Куда? Зачем им знать, когда клокочет страсть движенья. На их пути одно спасенье, забудь себя, обезумей, как вешние воды, с ними слейся, и мчись вперед. Лишь как сгорит в движенье ярость вод и опадут они в покое расплываясь, ты снова можешь стать собой. Но уж в иных мирах, обратно нет возврата.

Мы спустились к загорному Аю сачить. Как на пруду слышет королем рыбачьим Дуля, так на реке – наш дядьЛеша. Зря, что ли у его Борика, помимо Мильтона еще одна кликуха – Уха. Вернувшись с войны, дядьЛеша сменил зеленую гимнастерку на синюю ментов-

скую. На нашей-то Татарке, что вечно не в ладах с милицией, вдруг да мильтон объявился. Сколько претерпел дядьЛеша за синюю свою форму, фуражку сначала с голубым, а потом с красным околышком, а потом ничего, притерпелись. Он для своих, татарских безобидный, пакости-опасности от него никакой. Даже блатняки терпели дядьЛешу, работа есть работа, будь человеком, не курвись – живи. Ни то же по общесоветской песне: «Нас не тронешь, и мы не тронем, а затронешь, спуска не дадим». При встрече кривились – косились, но кто и здоровался – сосед все же. Мы, пацанва, как братья на загорный Ай стал, даже зауважали. Сачить – это вам не магалеи колоть вилкой, а дядьЛеша нас брал сачить.

В летнее покойное маловодье иных съедобных тварей, кроме магалеи, в городском Аю не застанешь, но не по весне. Снеготал столько воды сгоняет с гор, что пруд спускают, иначе плотину прорвет, а то и снесет. Бывало и сносило, тогда завод, поселки в долине, пока пруд не уйдет весь в низы реки, тонули.

При спуске пруда глыбы его булгачились основательно, тянуло их обитателей водной тягой к плотине, через нее наружу, в реку. Тут-то и ожидал бедолаг, обезумевших в водной сумятице, дядьЛеша со своим саком. Видели, чем детишки бабочек ловят? ДядьЛеша таким, но в сто крат больше не в воздухе машет, а шарит в водной мути. Конечно, не видно там ни рыбки. Да ему и не нужно видеть. Густо несет половодье прудовую рыбку. Не было случая, чтоб вытянул сак на берег и не скакало в нем литое рыбе серебро. Для того мы ему и нужны, из сетки рыбку выпутывать. Сачить – это вам не на бабочек баловаться. Поворочай-ка сачище в пенной стремнине, пудами руки оттягивает. Вода еще льдынь, такой колотун у реки, запоздалые белые мухи летят, а от дядьЛеши парит, как после парной. Сачить не для слабаков. Мы на подхвате, и то ухайдакаемся так, что на верхотурную нашу Керамическую на карачках вползаем. Принесет дядьЛеша нам положенную долю улова, а нам уж не до радостей перед родителями. Забились за заборку тараканами, не слышно и не видно. Да чтоб мы еще хоть раз сачить...

Назавтра в школу мать еле поднимет. За партой сидишь, как побитый, в глазах литое серебро мельгешится. Какие там уроки! Какое там домашнее задание. Дома только присядешь за учебники, Борик-Уха хлоп дверью: «Папка уже переодевается...». И ты в спешке в рукав не попадаешь. Вот уж поистине охота пуще неволи.

Не успеет опасть саковая страда-горячка с половодьем, плотина пруд запереть – нам новая заботушка. Время в леса, по дикий лук-мангыр, время по кислицу-киселку.

Сиренев апрельский лес. Пуст. Звуком, запахом, цветом. А ты склонись к земле. Приинки к дереву. Журчанье, гуд, бульканье. Бродят земные соки. Проснулась мать-сыра земля. А ты взгляди. Над мертвой травой, прилизанной снеготалом, прямо из снега уже светят белые звезды подснежников. Зябко становится. Живое же! Как пронзительна еще низовая стынь, и сколь еще будет разного – и морозца, и ветров студеных. Сколько еще до надежного тепла. Не потому ли так трепетно дорога она, первовесточка молодильной весенней радости. Поставишь утомленные дорогой, сникшие первоцветики в воду. Напьются вдосталь, повеселеют. Любопытно заглазеют ясноглазые. И чудо чудное! Войдет в дом апрельский лес. Знобкая свежесть земного пробуждения. Прозрачная, смутная, как привкус березовой крови. Скоро-скоро зеленое время. Падет наземь зеленый туман. Закипит-запьянит кипень-черемуха.

Ох, как трепетно будоражит душу завтрашней отрадой первоцвет! Веселеть бы, а только... За ночь облетит первоцвет, опорошит скатерть лепестками. Он не вянет и в губельном тепле, умирает сразу, не боля. Утром без него куском льда стеклянка с ненужной водой.

Грустно, горько, стыдно. Как же это ты там в лесу. Не утерпел, сорвал. Знал ведь, знал... Ради мимолетного чуда – пустить в дом весну – погубил.

А новой весной – новая мука. Букетик. И лес апрельский в доме. И радость-отрада, и грусть, и досада.

В леса по лук-мангыр, по киселку, Женька нам вожак. Дело серьезное, это вам не по ягоды на Салтанку, куда нас уже безо всяких отпускают, не один класс за плечами. Вот мы и до киселки досрели, а это вам не с Горы спуститься, не одну надо первалить. Киселка в лесах неближних-нешутейных, но с Женькой нас отпускают. Постарше, класса на три-четыре, старшекласник и вообще, в первых учениках. Ответственный товарищ! Леса знает, с ним не заблудишься.

Женька почему места знает? Из кузюков, коренных златоустовцев он. А у них не только покосы, но и лесные заветные места по наследству передаются, от других хранятся в тайне: куда и когда по ягоды-грибы ходить, где киселки завались. А вот Женька водил нас на заветные родовые места? Наверно, малолетками считал, мол, не запомним.

По самой ранней весне вел нас Женька за гусиным луком, что раньше всякой зеленой съедобности лезет. Водил за другой конец города, но с трамвая недалече, лишь горку за вокзальной тюрьмой перевалить. Под Таганаем у Тесьмы, чуть оплывет снежок, строчат по болотцу его перышки. По гусиный лук нам не так уж и завидно, легко его брать, да плохо за ним ходить. Берегись, не берегись, а мокрехоньки. По вкусу лесной лук на любителя, чесноком отдает чувствительно, а коль зимой в чашку квашеный выложат – из дому беги, так вонько с него. В Златоустье, однако, в зестолье ему честь с кузюцких времен. Кузюк в гостях, какие ни выставят разносолы на стол, на гусиный лук наляжет.

Для нас киселка завлекательнее этого горного лучка-чесночка. Со всем не видная из себя наша заветная златоустовская травка: с виду светлая свечечка с зеленым пламешком, но с башкирских до кузюцких времен (потому и звание еще башкирская капуста) всем травам трава. Сломишь под корешок, освежуешь от шкурки-кожурки и хрумкаешь. Сока полон рот захлеб. Как яблоки стали завозить, распробовали, сравнили с киселкой. Яблоки послаще, слов нет, да кому что. Киселка силы дает, самая путевая травка. В киселковую пору мило дело горы мерять. Руку протянул, прямо с тропы – и в рот. Хрумкать устанешь, оскомина одолеет, и все рука тянется а на ходу свеж, хоть день-деньской без останова топай, ни пить тебе, ни есть охоты. Травка-будисил!

Самая вкуснота в киселке новорожденной, только-только зеленым пламешком свечечка засветится, от земли срзова. Нарастает киселка до поллета. Солнышко в полном зените, лето на вершине, а знае, так найдешь где полакомиться. Киселка в горы поднимается с теплом, а оно на нашей верхотуре нескоро утверждается. Внизу уж земляничную зелепуху солнышко румянит, а в вершинных скалах да курумах только-только последний снег вылизывает. Тут-то вот и шарь взглядом и обязательно нашаришь.

В киселковое раннелетье лес просторен, с горы на гору проглядывается. Скуден и травой, и листом. Новина лишь прозеленью в серости травяного прошлогодья. Кусты, деревья парят в зыбком мареве сквозных крон. Сок в каждой лесине густой и сладимый, как молоко после отела. Мать-сыра земля поддерживает древесных детей своих, наголодавшихся за зимнюю спячку. Помогает ожить поскорее, сил набраться. Чтоб успели за зеленый день лета ствол нарастить, процвести, и дозорить семя для продолжения рода. Листовой зеленью воздух освежить для дыханья братьев кровных.

Сколько животворного земного молока в каждом дереве! Березку только царапни – засочится, порань поглубже – ручейком заструится. Пей досшиба и с собой наливай, да не забудь за собой прибрать. Не затворишь ранку, изойдет соком, захиреет березка. Жизнь ей уж не в жизнь, глядишь, и засохла. Даже и найдет коль силы затянуть рану, переболеть, так все равно ей никакого роста, будто лета не было. Мы березки не обижаем, соком-молочком побалуемся, обязательно ранку заделаем.

У кузюков раньше насчет леса совсем строго было. Троица, лес листвою покроеся – и делать тебе здесь нечего. До ягодно-грибной, покосной поры давали кузюки покой лесу. Не мешать чтоб зверюптице детишек вывести и на ноги поставить, траве-мураве едовости набрать. И то разобраться, так какие дела в лесу, как отойдет кислица?

Как опушит лист березу, «молоко» в ней жижеет, вода в ключике слаще, и киселку не узнать. Израстают сочные ее свечки в никчемное, труботелое долготье, ни кислинки в ней, ни сладинки. Одна радость, опахивают белые кистья ее цвета медком. Отцветает – и никаких примет, сольется с другими заветная кузюцкая травка, на елянях ляжет с ними в рядки кошенины, сеном в стога. Лишь на летнем закате станет снова заметна кислица, которую обойдет коса, напоследок приметно обдает ее багрецом, совсем не горестно. Киселка ж не умирает, лишь отдохнуть в землю ложится. В ветвистых, сочных корнях ее сложено уже, скоплено все, что надо, чтоб новой весной загорелись зеленым пламешком зеленые ее свечечки.

При попытке к бегству

Начитаешься, еще не то сотворишь.

Поучение отца

Не хочется, но как не сказать о весьма постыдном случае, слова из песни жизни не выкинешь. Как мог я, почти гольный отличник, пойти на такое? Да еще пацанов сблатовать. Не Толян настроил всех на дурость, а я, самым умный, самый ученый на улице.

Мы решили бежать из дому. Нет, не ширмачить, как заведено у наших пацанов, посмотреть железнодорожную страну. Выхода у меня просто не было, тянуть дальше нельзя, совсем я исстрадался. Как вошел я в соображение, стал не верить взрослым. В книжках у них про всякие там города-страны, моря-океаны. А где им быть, всем этим странам-окенам? Ну ладно, за Косотуром еще хребет. Посмотреть с нашего Самолета (скала с каменными крыльями) на Горе, за ним еще разглядишь, но ведь на последний-то все равно опускается небо. Я же вижу своими глазами. В долинах, что ли, все эти индийские да тихие океаны. Что-то не то. Никак не мог я обороть это крамольное свое неверие, которое между прочим совсем не мешало мне у доски отвечать по учебнику. Таким вот я был лицемером. Ах, Галилей, ты был не одинок! Всем известно, что на людях он говорил, как тогда считали, что Солнце вертится вокруг Земли, а про себя не уставал твердить: «А все-таки она вертится», то есть наоборот Земля вокруг Солнца. И я, получая пятерки за лжесогласие, сомневался про себя: «А все-таки это вранье».

Конечно, чесался у меня язык опровергнуть утверждение учебника в необъятности земного громадьа. Но попробуй-ка Вере Васильевне (учительница все младшекласье) заяви о своих сомнениях, из двоек не вылезешь. Нужны веские доказательства, лично убедиться, или как в книжках, или как по мне. Дома они не валяются, надо добывать за хребтами. А отпустят тебя дома доказывать, ведь не на день-два? Конечно, нет. Вот и получается, хочешь не хочешь, а надо отлучиться. Я прав, так ненадолго, горы три перевалить и конец света. По ихнему. так... Вопрос, хотя б пока не надоест.

От железной дороги отказались. На крышах пацанва отъездила. Электропоезда стали пускать. Первым в стране участок от Златоуста до Челябинска электрифицировали еще в конце войны. Паровозам не по силам материковую стену брать, сцепкой по два-три поднимали груженые составы на Уралтау. Вот и натянули провода, электровозы куда сильнее. Натянули провода бродячему люду на погибель, сколько пацанов с вагонных крыш посрезало. Зайцем по вагонам много не нашныряешь – ловить нашего брата много кого найдется. Докажи ты им, что не шпана, что с научной целью, можно сказать, едешь. И слушать не станут, как миленького домой вернут. Дома, понятно, что ждет, и в школе срама не

оберешься. С первых учеников попрут, это уж точно. До первого кондуктора, первого мента путешествие.

Пешедралом? Вроде бы и ничего, ни кондукторов тебе, ни железнодорожной милиции. Но все же на себе таранить. Все же едой можно разгрузиться, где стрелнуть, где того... Народ-то получше жить стал, а потому добрее. Очень уж дорог много, заблудимся, да еще звери разные. Волки, медведи. Дальше того хуже, судя по учебникам, могут тигры встречаться, если, конечно, не выдумка, и даже львы. От встречи с ними радость невелика.

Решено было плыть по Аю на плоту. Лучше не придумаешь. Как пишут, он впадает в Уфу, та в Белую, та в Каму, та в Волгу, а та уже в море. Ну до моря мы не будем плыть, одного Ая мне хватит убедить. В самом деле, чего бы лучше, понесет тебя вода, а ты посиживай, открывай по берегам земли. Еда под тобой, всякие там рыбы, раки, раковины, в пруду перловиц уже опробовали. Невкусно, но есть можно. На учебе не отразится. Поплывем в каникулы, в школе и знать никто не будет, обязательно к сентябрю обернемся. Дома? Что дома? Письмо оставим. Мол, так и так, по делам. Не ищите, вернемся сами. Успокоятся, мы уже не маленькие, в соображении.

Братке только скажи. Куда я – туда и он, по бабушке, так иголка с ниткой. Володька с Бориком тоже сразу клюнули, с Артуркой пришлось повозиться, то ему да се: «Рулевым сделай». «Так ведь Володьке уже обещал». «Тогда капитаном». «А я кто?» Ладно, ладно, будешь ты у меня капитаном. Я тебе покажу такого капитана, только бы отчалить. Гальюнщиком ты у нас будешь, есть на корабле такая срамная должность – сортир чистить. Понятно, что это он цену себе набивает. Все ясно и невооруженным глазом, слаб в коленках. Пацан пацаном, а вспомнит про ремень, которого, конечно же не избежать, и ни на что не годен. Да и далеко от дома боится, маменькин сынок.

Плюнуть на уговоры, так некого больше в экипаж. Женька на такое не пойдет, большой уже, семилетку окончил и вообще приличный ученик. Со шпаной мы не знаем, да и не по ней путешествия с научной целью, слямзить что, хулиганку устроить это да, а наука не по ней. Остальные на улице не доросли еще до серьезных дел, мелочь пузатая, послевоенная.

Все сорвалось из-за сухарей, вот именно, какое без них плавание, стали сушить. С хлебом свободнее стало, карточки отменили,

в залавке ночевать стал. Что и требовалось доказать, мы потихонечку от буханочки ножичком, мы не дураки, помногу, заметят. Сушить на печи, в уголке со всякой тряхомудиной, приспособились.

Тайник устроили в родительской кровати. Матрац пружинный, сколько раз выручал. Натворишь дел – и пулей под койку. Руками, ногами вцепишься в доски, на которые пружины упираются. Оторви попробуй! А под кроватью ремнем не больно, не размахнешься. Висим на матраце мартышками, пока отец не намахается и остынет, гроза не минует. Запрятать в матрацных пружинах что угодно можно. Сроду не догадались бы родители о нашем тайнике, если бы искали его. Так они искали, и все же...

К весне уже дело шло, сухарей прилично накопилось, лежат родители перед сном, решают домашние проблемы, в общем, слушать неинтересно. А только вдруг слышим:

– Что это, мать, в кровати у тебя? Камни, что ли?

– Дошло до него. Кожа, как у слона. У меня давно все бока в синяках. Матрац-то когда перетягивал? Не спанье, а мука. Смотри, как выперли пружины.

Скрипнули пружины. Похоже, поднялся отец, проверяет рукой.

– Нет, это, похоже, не пружины выперли. Что ж это такое?

Отцов голос приглушился. Так ведь это он под кровать полез.

И не лень, туда же ему едва-едва втиснуться. Ой, не надо!

Отец втиснулся-таки.

– Тебе что, мать, печи мало, – осерчал отцов голос.

Дураку ясно, наши сухарики обнаружил. Попухли!

Началось следствие: «И куда это вы собрались? Про запас? Да у нас в чуланке мешок сухарей про запас. Обмани Фому, а я брат ему. Лыжи наострили?» Что да как? Ох да ах! Пришлось идти на сознанку. Тут уже отец и сердчать не смог: «Путешествовать! Плыть по Аю до моря. Это надо ж такое придумать». Как стыдили, ох стыдили, что о том вспоминать. Зато не пороли, от стыда плакали мы, а с нами и наши сухарики, милицейски, так конфисковали.

Так и не сплавали мы по Аю. А без доказательств что докажешь. Ну а потом все же на словах переубедили меня взрослые, повернули в свою веру. За них ведь и книги, и радио. Где мне одному против. Галилей вон и то пошел на попятную, подписался, как все, за Землю и Солнце.